

Места, которых нет

СТРАСТНОЙ МОНАСТЫРЬ

Тверская, которой не стало

Сергей Диковинный



Сергей Диковинный

Страстной монастырь

«Автор»

2026

Диковинный С. В.

Страстной монастырь / С. В. Диковинный — «Автор», 2026

Страстной монастырь Он стоял у Тверских ворот Москвы почти триста лет. Через эти врата входили в город — иконы, цари, обозы, армии. Монастырь встречал всех, кто шёл с запада, и сам был вратами: Святые ворота, колокольня над входом, храм над колокольней. Над вратами стоял Алексей, человек Божий — святой, который семнадцать лет сидел у ворот отчего дома и не вошёл. В 1936 году «Мосразбор» начал снос. К 1937 году, к столетию со дня гибели Пушкина, на месте монастыря была ровная, покрытая асфальтом пустота. Это книга о том, что делают с местом, когда сносят не здание, а вход. О часах, которые шли и били, потом замолчали, потом их сняли. О святом, который умеет быть невидимым. О том, что утраченный — не значит исчезнувший.

© Диковинный С. В., 2026

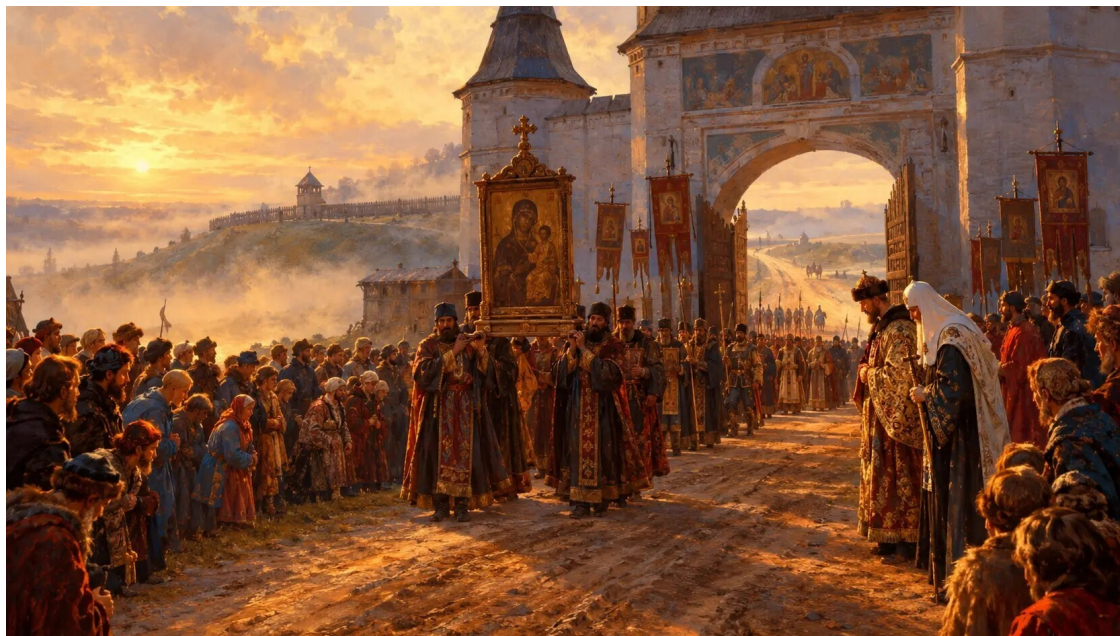
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Врата	5
Глава 2. Человек у врат	9
Глава 3. Восемь сторон одного входа	13
Глава 4. Пушкин напротив	16
Глава 5. Тишина	18
Глава 6. Вход	22
Эпилог. Где искать	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Страстной монастырь

Глава 1. Врата



В Москве были ворота, через которые входили с запада.

Они назывались Тверскими. Стояли там, где Белый город заканчивался и начиналась дорога на Тверь — та самая, что потом станет Тверской улицей, а потом улицей Горького, а потом снова Тверской. За воротами была земляная стена, ров, караульная изба. Перед воротами была площадь — не площадь даже, а просто место перед входом, куда стекались подводы и люди, шедшие в Москву.

В августе 1641 года к этим воротам шёл крестный ход.

Шёл он не из Кремля. Шёл он из Нижнего Новгорода — вернее, икона шла оттуда, а крестный ход встречал её у самых ворот. Царь Михаил Фёдорович вышел навстречу сам, что бывало не так часто. Вместе с ним вышел патриарх. Вместе с ними вышла толпа — вся, какая была в тот день на Тверской дороге, — и встала по обе стороны пути. Икону несли на руках. Она была написана на дереве, в рост человека, и изображала Богоматерь с младенцем. В верхней части её были ангелы, которые держали в руках орудия страданий Христа — копьё и крест. От этих орудий икона и получила имя, которое носила всё время, пока была в Москве, и которое после неё осталось в языке города: Страстная.

У Тверских ворот икону встретили.

Это было не просто торжество. В Москву шёл образ, который уже был известен чудесами — не в Москве, а в Нижегородской губернии, в селе Палец, куда он прибыл незадолго до этого. О том, что делалось в селе Палец, до Москвы доходили сведения. Кто-то выздоровел. Кто-то прозрел. Кто-то избавился от беснования. Царь велел доставить икону в Москву — посмотреть самому, приложиться, распорядиться о копии.

И икону доставили. И встречали у Тверских ворот. Это была обычная московская традиция: чтимый образ, приходивший в город, встречали у ворот. У ворот встречали всё, что входило в Москву с запада. У ворот люди стояли толпой и смотрели, как входит то, что должно было войти. Так встречали царей, так встречали патриархов, так встречали послов. Так встретили икону.

Встретивший — стоит. Входящий — входит. Это и есть ворота: место, где двое встречаются и один пропускает другого.

Икона вошла. Её приняли царские иконописцы, которые должны были снять с неё список — точное повторение — для Москвы. Список был сделан, и для него возвели церковь. Каменную, пятиглавую, при царе Алексее Михайловиче, в 1646 году. Через три года в этой церкви стояла уже подлинная икона: подлинник остался в Москве, а в село Палец отправился его список. Так иногда бывало: образ, прославившийся чудесами в провинции, переезжал в столицу, а провинция получала копию. Москва была центром, и то, что должно было её освятить, должно было быть в ней самой.

У Тверских ворот теперь стояла церковь Страстной иконы Божией Матери.

Через пять лет рядом с ней появилась вторая — во имя Рождества Богородицы, в Путинках. Две церкви, стоявшие рядом, у одних и тех же ворот, — это ещё не монастырь. Это просто две приходские церкви на одном перекрёстке. Но когда в 1654 году у Тверских ворот был основан девичий монастырь, он был основан именно при этих двух церквях. Не вместо них, не над ними, а рядом с ними. Он был поставлен здесь потому, что место уже было освящено. Икона встретила с воротами раньше, чем монастырь встретился с городом.

Так Москва получила одну из своих обителей. Не в глубине переулков, не в тихом углу, не в стороне от шума, а прямо у входа, на дороге, у ворот, где шли подводы, где стояли торговцы, где начинался Белый город. Монастырь, поставленный у самых ворот, — это монастырь-встреча. Монастырь, назначение которого — стоять там, где входят, и смотреть на входящих.

Прошло ещё сорок лет.

К этому времени у монастыря были каменные стены, башни, врата, поставленные на царские деньги. Врата были главные — Святые, через которые входили в обитель. И над этими вратами в 1697 году начали строить колокольню. Не рядом с вратами, не позади них, а прямо над ними. Столпообразное сооружение, храм «иже под колоколы» — то есть храм, устроенный внутри колокольни, с шестью окнами, с лестницей внутри, ведущей наверх. Таких построек в Москве было немало в семнадцатом веке, но каждая из них решала одну задачу: сделать вход не просто входом, а местом, откуда поднимается звон.

Колокольню над Святыми вратами освятили не сразу. Заложили в 1697 году, а освятили только в 1707-м, уже при новом государе — Петре Алексеевиче, потому что старый, Алексей Михайлович, к тому времени давно умер. Освятили в честь Алексия, человека Божия.

Имя было выбрано так точно, что теперь это видно каждому, кто прочтёт житие.

Алексий, человек Божий, жил в Риме, в доме богатых и знатных родителей. Он был единственным сыном. Однажды, в самый день своей свадьбы, он вышел из дома и не вернулся. Свадьба была отменена, родители остались без сына, невеста — без мужа. Алексей уехал на Восток, жил в нищете, странствовал, дошёл до Сирии. Через много лет он вернулся в родной город — не в дом, а к дому. Он не вошёл внутрь. Он сел у ворот своего отчего дома, на землю, под открытым небом, рядом с нищими. И никто из домашних его не узнал — так он изменился. И отец его, и мать, и бывшая невеста его не узнали. А он сидел у ворот и не сказал никому, кто он. Так он прожил семнадцать лет. Все эти годы он был рядом с теми, кого любил, но оставался неузнанным, и не открылся, и не вошёл. Когда он умер, о его имени узнали только по записке, которую он держал в руке.

Святой Алексей — это человек, который стоял у врат и не вошёл внутрь. Он умер у входа. Он был похоронен у входа.

Страстной монастырь у Тверских ворот поставил над своими Святыми вратами колокольню, а в колокольне — храм в честь Алексия, человека Божия. Не в честь воина, не в честь мученика, не в честь святителя. В честь человека, который умер у ворот.

Это было не совпадение. Это было узнавание.

Монастырь у Тверских ворот был монастырём-встречей. Монастырём-вратами. Монастырём, поставленным там, где входят в город. И святой, которого он над собой поднял, был человеком врат. Стоял у ворот. Смотрел на входящих. Не входил сам. И, в отличие от того, кто входит, к нему нельзя было подойти просто так — он был не внутри, он был у входа.

Так сложилась эта пара: врата и человек у врат. Врата, через которые входят, и святой, который сторожит вход.

Страстной монастырь называли «вратами Москвы» — не в смысле «вход», а в смысле «тот, кто встречает у входа». Он встречал всех, кто входил в город с запада. Он встречал иконы, царей, паломников, обозы, послов, крестные ходы, армии. Через него проходило всё, что должно было пройти через Москву.

И всё это шло сквозь него потому, что он стоял у самых ворот.

Прошло больше ста лет.

Монастырь погорел. В 1773 году горели кельи и дома священнослужителей. В 1778-м большой пожар на Тверской уничтожил Гагаринские палаты, стоявшие напротив, и сам Страстной монастырь. Из огня спасли Страстную икону, Боголюбскую икону и образ мученика Иоанна Воина. Императрица Екатерина II приказала отстраивать монастырь заново. В 1781 году освятили храм во имя Алексия, человека Божия — с посвящением тому самому святому, чей храм был над вратами.

Прошло ещё тридцать лет, и в Москву вошла французская армия.

Она вошла через Тверскую заставу. Этим же входом воспользовался сам Наполеон. Сначала были грабежи, потом — пожары. Огонь метался по ветру и превращался в бурю.

Район Страстной площади пострадал меньше других. Но монастырь пострадал так, как в Москве не пострадал почти никто.

Монахини и игуменья Тавифа остались в обители. Их не вывезли в Сергиеву Лавру, как собирались. Ворота наглухо закрыли, а в кладовых под кельями и в ризнице под крышей главного храма спрятали иконы и утварь. Французские солдаты ворвались внутрь — не в первый день, но ворвались. Разместились в кельях. В нижних храмах стояли лошади. В храмы вкатывали бочки с вином. В зимнем соборе, освящённом когда-то во имя архангела Михаила, французы складывали награбленное. Монахини перебрались жить в трапезную церковь собора Страстной иконы. Но того, что было спрятано под полами и под кровлей, французы так и не нашли.

У Святых ворот монастыря французы расстреляли десять москвичей. Это не была казнь по приговору. Это была расправа, каких было много: за поджоги, в которых французы подозревали жителей, расстреливали без суда и следствия. В начале Тверского бульвара, вдоль которого стояли фонари, тела повешенных висели на столбах.

Службы в монастыре сначала были запрещены. Через две недели они возобновились.

Через две недели в монастыре снова служили. Это было маленькое событие, о котором в Москве почти никто не знал, потому что в Москве в те две недели не знали ничего, кроме огня и грабежа. Но это было одно из тех событий, которое потом окажется значимым не само по себе, а тем, что за ним последовало. Служба возобновилась — значит, монастырь не умер. А если монастырь не умер, значит, есть шанс, что и Москва не умрёт.

Так и вышло. И когда Москва дождалась победы, о ней в городе узнали от колоколов. Колокола Страстного монастыря ударили первыми. Это они возвестили столице, что война кончилась и что Москва снова может дышать.

Монастырь, поставленный у ворот Москвы, был одним из первых, кто сказал: «Всё». И это было после того, как он сам прошёл через всё.

Потом прошло ещё сорок лет, и над Святыми вратами Страстного монастыря построят новые часы — с боем, на четырёх гранях колокольни, с шестью колоколами для боя, с трина-

дцатью колоколами для звона, во главе которых встанет «Благовест» — колокол весом в семьсот двадцать два с половиной пуда.

До этих часов ещё далеко. До этих колоколов ещё далеко. Сейчас, в конце восемнадцатого века, над Святыми вратами стоит колокольня «иже под колоколы», сложенная из кирпича, с храмом Алексия, человека Божия, в четверике. Она стоит там, где стояла. Это всё, что от неё требуется.

Потому что место, на котором она стоит, — это место врат. А врата — это то, что пропускает входящих. Врата не должны быть красивы. Врата должны быть на месте.

Они были на месте двести лет. Пока — были.

Глава 2. Человек у врат



Алексий, человек Божий, жил в Риме.

Он был сыном богатых и знатных родителей — таких, у которых в доме были и слуги, и запасы, и сад, и своя церковь. У него была невеста, с которой он должен был венчаться, и было будущее, давно расписанное по дням: свадьба, дом, дети, старость. Родители его не могли себе представить, чтобы единственный сын сделал что-то не так, как надо.

В самый день свадьбы он вышел из дома и не вернулся.

Это не было бегством из страха и не было ссорой. Он ушёл, потому что решил уйти. Свадьбу отменили, родителей оставили в недоумении, невесту — в самом страшном положении, в каком может оказаться девушка в его время: без объяснения, без письма, без ответа. Алексий не написал никому. Он просто уехал на Восток.

На Востоке он жил в нищете — так, как обычно живут бродяги. Он был в Лаодикии, потом в Эдессе, потом ещё в нескольких городах. Нигде не задерживался надолго, нигде не пытался улучшить своё положение. Пищи просил милостыней. Спал на земле. Семнадцать лет он провёл в этом состоянии, а потом вернулся — не домой, а к дому.

Он вернулся в Рим, в тот самый город, где стоял дом его отца. Он дошёл до отчего дома и остался у его ворот. Не вошёл. Не постучался. Не сказал никому, кто он. Он сел на землю у входа и стал одним из тех нищих, что днём стояли у ворот богатого дома, а вечером расходились по своим углам.

Он был неузнан.

Его не узнал отец, каждый день выходивший из дома по делам. Его не узнала мать, иногда проходившая мимо. Его не узнала невеста, которая вышла замуж за другого только потому, что не дождалась. Никто из домашних не узнал Алексия — так он изменился за годы нищеты, так стёрлись его черты, так он был не похож на себя прежнего.

Он жил у ворот отчего дома семнадцать лет.

Каждый день он видел своих родителей. Каждый день видел женщину, которая когда-то должна была стать его женой. Каждый день видел вход в комнаты, где он вырос. Он не вошёл. Ни разу.

Так он умер. Он умер у входа в дом, где родился. И только когда его нашли мёртвым и начали готовить к погребению, обнаружили в его руке записку. По записке узнали, кто он. По записке узнали, что все эти годы у ворот сидел не нищий, а сын хозяина дома.

Дальше — то, что известно из жития: отец и мать неузнанного сына погребли его с почестями, невеста его всю оставшуюся жизнь провела в молитве рядом с его гробом, а сам он стал святым. Святым, которого почитают во всём христианском мире.

Вот почему человек, стоявший у ворот и не вошедший внутрь, стал святым.

Есть много святых, которые вошли в ворота. Есть святые, которые жили в кельях, в монастырях, в пустынях, в храмах, — на правильном месте, на своём посту, где их и искать. Есть святые епископы, которые управляли городами. Есть святые воины, которые брали города. Есть святые цари, которые правили царствами. И есть Алексей, человек Божий, который не вошёл.

Это очень неудобный для церковной традиции факт. Обычно святой — это тот, кто прошёл путь и дошёл. Алексей дошёл не до конца. Он остался у входа. Он умер в самой низкой точке пути — у ворот, на земле, среди нищих. А Церковь взяла это и сказала: вот святой. Вот так тоже можно.

Монастырь у Тверских ворот поставил его над своими Святыми вратами. Не в глубине обители, не в главном соборе, не в алтаре, не на месте игуменьи, а над входом, в самой колокольне — наверху Святых врат.

Это был точный выбор.

Страстной монастырь был монастырём у ворот. У Тверских ворот Белого города стоял он сам. И внутри этого монастыря его главная постройка — надвратная колокольня — тоже была вратами. Святые врата — то место, через которое входили. И над этими вратами — Алексей, человек Божий.

Он смотрел вниз на тех, кто входит. Он видел каждого, кто переступал порог обители. Он не входил сам, и не мог войти, потому что был сверху, над входом, на своём посту. Он был глазами врат.

Монастырь сделал его не покровителем, а стражем. Страж — это тот, кто не входит первым и не выходит последним. Страж стоит на пороге и следит, чтобы вход оставался входом. Пока страж на месте, всякий, кто идёт в обитель, входит через него.

В житии Алексея есть один особенно важный для нас момент. Он — сын хозяина дома. Дом, у ворот которого он сидит, — его дом по крови. Он мог бы войти в любой момент. Никто бы его не выгнал. Стоило ему сказать одно слово, и его вернули бы в комнаты, одели бы, накормили бы, признали бы. Но он не сказал. Он остался у ворот. И это добровольно.

Монастырь у Тверских ворот — не Алексиев монастырь. Это Страстной монастырь. Его главная святыня — икона Страстной Божией Матери. Его главный престол — Страстная. Его имя — Страстной. А Алексей — только над входом, только в колокольне, только сверху.

Но если бы его не было, если бы над Святыми вратами стоял не он, а кто-то другой, — это был бы другой монастырь.

Потому что Алексей — тот святой, без которого врата не врата.

Есть люди, которые входят. Есть люди, которые выходят. Есть люди, которые стоят между входом и выходом и никуда не идут. Эти последние — редки, и обычно их не замечают. Через них всё проходит, но у них самих ничего не остаётся. Они не строят, не пишут, не воют, не правят. Они стоят на пороге и держат порог. И если они с порога уходят, то порог перестаёт быть порогом: остаётся дверная рама, но войти в неё уже нельзя.

Алексий, человек Божий, семнадцать лет стоял у ворот отчего дома. И через него вошли и вышли все, кто входил и выходил из этого дома в те годы. А сам он не вошёл.

Страстной монастырь выбрал его себе в стражи по той же логике, по которой сам стоял у ворот Москвы: он ставил над собой того, кто умеет стоять у ворот и не входить.

Так сложилась целая цепочка врат. У Тверских ворот Белого города стоят врата Страстного монастыря. Над вратами Страстного монастыря сидит Алексей, человек Божий. И все, кто идёт в Москву с запада, проходят через эти врата — сначала монастырские, потом городские, — и над ними всеми, на самом верху, смотрит вниз тот, кто сам когда-то сидел у ворот и не вошёл.

Монастырь называли «вратами Москвы». Это не было выражением. Это было буквально. Через Страстной монастырь входили в город. И святой, стоявший над вратами монастыря, был святым входа. Не храма, не алтаря, не престола. Входа.

Прошло больше века.

В 1849 году митрополит Московский Филарет отправил в Святейший Синод донесение: колокольня над Святыми вратами Страстного монастыря обветшала. Настолько, что её необходимо перестроить. Старший архитектор Козловский осмотрел постройку и подтвердил: да, обветшала. Строить так, как есть, дальше нельзя.

В марте 1850 года император Николай I утвердил проект постройки новой колокольни с храмом, часовней и кельями. Архитектором был назначен Михаил Доримедонтович Быковский, ученик Жилярди, работавший для шести московских монастырей подряд.

Старая колокольня была разобрана.

Это очень важный момент, на который обычно не обращают внимания. Старая колокольня — та самая, что стояла над Святыми вратами с конца семнадцатого века, — была снесена. Не потому что мешала, не потому что устарела, а потому что обветшала и не могла больше стоять.

Её снесение прошло тихо. Никто не писал об этом в газетах. Никто не возмущался. Это было обычное дело: обветшалое строение заменяют новым. Тогда ещё не знали, что можно сносить не только обветшавшее.

На месте старой колокольни Быковский поставил новую.

Псевдорусский стиль с чертами позднего классицизма, стилизованные формы древнерусского зодчества. Строение вышло за красную линию Тверской — на это было особое разрешение императора, потому что обычно так не делали. Колокольня выступала на улицу и замыкала её с одной стороны, внося в ансамбль площади симметрию.

Это был не просто храм над воротами. Это был целый комплекс: ограда, ворота, боковые корпуса с башенками, часовня, храм Алексия и шатровая колокольня. Всё вместе — плотно, точно, на своём месте.

В первом ярусе, справа от ворот, устроили часовню — для иконы Божией Матери, которая когда-то стояла на старых Триумфальных воротах, а после того как Триумфальные ворота разобрали, была пожертвована монастырю. Над воротами, в четверике под часами, располагался храм преподобного Алексия, человека Божия. Храм освятили в 1855 году.

Он стоял как раз там, где смотрит каждый, кто проходит под колокольной. Через него проходили, поднимая глаза.

Главную икону Алексия, человека Божия, обрамили богатой ризой — даром купца Алексея Русинова. Другие иконы заказали художнику Василию Пукиреву, начинавшему когда-то иконописцем, а потом ставшему живописцем. Какие именно иконы он написал для надвратного храма — неизвестно. Документально не сохранилось. Есть только его картина «В мастерской художника», где видно, как он сам, вероятно, писал иконы, и можно предположить, что они были ростовыми, в рост человека.

Так человек у врат снова оказался над вратами.

Над Святыми вратами Страстного монастыря было поставлено Алексею, человеку Божию, — тому, кто сам был человеком у врат. Сверху, на колокольне, в храме, куда входили только через узкую лестницу внутри. Снизу, через ворота, шли и ехали все, кто шёл и ехал

по Тверской. И все они шли мимо храма Алексия, и все они, сами того не зная, шли мимо святого, который смотрел на них сверху.

В 1880 году напротив монастыря поставили памятник Пушкину.

Это было важное изменение в смысле всей площади. Памятник встал в начале Тверского бульвара, лицом к монастырю. Он был сделан по всенародной подписке и задуман как мемориальное надгробие поэту. Поэт смотрел на монастырь. Монастырь был напротив поэта. Один день — пушкинский праздник — собирал тут всю Москву. Остальные дни памятник смотрел на Святые врата и на Алексия над ними.

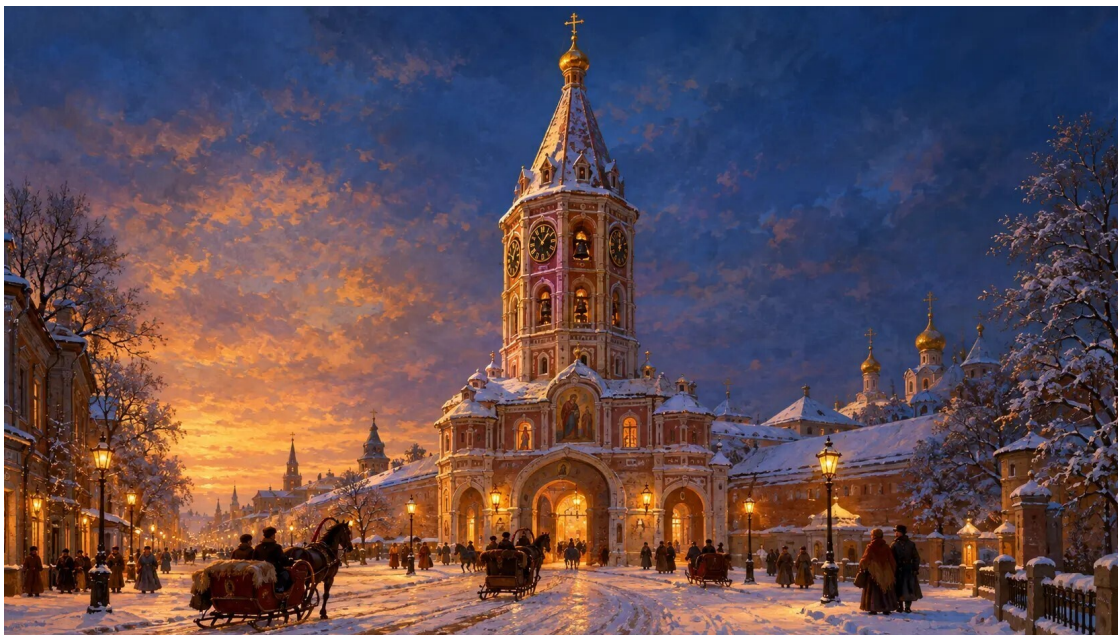
Между поэтом и святым было метров тридцать. Они не разговаривали — они стояли. Поэт сказал всё, что имел сказать, словом. Святой сказал всё, что имел сказать, местом. Один был на площади, другой — на колокольне. Одна фигура — бронзовая, в рост, внизу. Другая — иконописная, в четверике, под часами. Обе смотрели вниз, на прохожих. Обе знали про себя, что стоят у ворот.

Но это отдельная история. Она будет дальше.

А пока — Алексей, человек Божий, стоял на своём посту над Святыми вратами Страстного монастыря. На своём месте. На своём посту. Не входя. Следя за тем, как входят другие.

Так продолжалось семьдесят пять лет.

Глава 3. Восемь сторон одного входа



Новая колокольня Быковского стояла плотно и точно.

Она была составлена из нескольких частей, но читалась как одно целое. Внизу — Святые врата, широкие, с боковыми калитками. Над воротами — четверик, в котором был устроен храм Алексия, человека Божия. Над четвериком — восьмерик: восемь граней, восемь сторон, и на каждой стороне — часы с боем. Над восьмериком — шатёр, высокий, сужающийся кверху, с главкой и крестом. По бокам — корпуса, симметричные, с башенками. Справа от ворот, в первом ярусе, — часовня. Слева и справа, выше, — кельи игуменьи и монахинь, а ещё дальше внутри — монастырская больница.

Всё вместе было не столько храмом, сколько вратами. Храм входил в них как часть. Колокольня входила в них как часть. Кельи, часовня, корпуса — тоже. Не было отдельно храма и отдельно врат. Были врата, устроенные так, что сквозь них можно было не только пройти, но и услышать звон, увидеть икону, зайти в часовню, подняться к Алексию по лестнице внутри.

Не случайно эту колокольню называли «сердцем Москвы». Не потому, что она стояла в центре — она стояла с краю, на выезде из города. А потому, что она была воротами в город, а ворота в город — это его сердце. Через сердце входит кровь. Через ворота входит всё.

Часы на восьми гранях колокольни завели не сразу, но потом завели.

Часы с боем — это было в Москве редко. Впервые они появились в Петербурге, в 1720 году, на колокольне собора Петра и Павла в Петропавловской крепости. В 1784 году — в Троице-Сергиевой лавре. Дальше эта традиция шла вразброс, не повсеместно. Каждый случай был отдельным событием: там поставили, здесь поставили, у Страстного поставили в 1850-е. Шесть колоколов для боя — отдельных, маленьких, отбивающих четверти и часы. Тринадцать колоколов для звона — тех, что собираются в благовест и в трезвон, в будни и в праздники. А во главе — «Благовест», колокол весом семьсот двадцать два с половиной пуда, то есть почти двенадцать тонн. Пуд — это шестнадцать килограммов с небольшим. Семьсот двадцать два с половиной пуда — это не колокол, это масса. Чтобы его поднять, требовалась не верёвка, а целая система блоков, и чтобы его раскатать, требовалось несколько человек, шедших в ногу, а когда он ударял, в Москве было слышно.

На «Благовесте» были клейма. Спаситель. Страстная икона Божией Матери. Святитель Николай. Преподобный Алексей, человек Божий. Мученица Анастасия. Блаженный Василий. Архангел Гавриил. Мученик Савва Стратилат.

Восемь образов на одном колоколе. Восемь сторон у восьмерика колокольни. Восемь граней — восемь образов. Совпадение или замысел — неизвестно, но совпадение это точное. Колокол и колокольня были сделаны друг для друга.

Обычно у колокола нет изображений. Колокол — это звук. Он звучит и не показывает ничего. Но у «Благовеста» Страстного монастыря были изображения, клейма, фигуры святых, отлитые в бронзе. Колокол говорил, и колокол же показывал. В нём было и то, что слышно, и то, что видно.

Колокольню слышали далеко. Звон её был хорошо узнаваем — по «Благовесту», по соединению его с тринадцатью другими, по четвертям, которые отбивали шесть маленьких колоколов. Москва привыкла к этому звону. Она знала, когда он звонит, и что это означает. Обычный благовест — начало службы. Праздничный трезвон — праздник. Погребальный звон — похороны. Набат — беда. Весь этот словарь был у Страстного монастыря на руках, как у любого большого московского прихода того времени. И Москва в этих словах разбиралась свободно.

Над воротами, обращёнными к Тверской, всё это было на виду. Восемь граней колокольни. Часы на каждой грани. Внизу — Алексей, человек Божий. Внутри — часовня с иконой Божией Матери, принесённой сюда с Триумфальных ворот. Ниже — сама икона, доступная каждому, кто заходил в часовню. Выше — кельи, в которых жили монахини. Ещё выше — шатёр, поднимающийся к кресту.

Часы на колокольне были не только для того, чтобы Москва знала время. Они были для того, чтобы вся окрестность была подчинена одному ритму. Время, отбиваемое часами на колокольне, было не твоё личное время — оно было время Москвы. Оно шло вместе с жизнью площади, с движением по Тверской, с церковными службами внутри монастыря, с началом и концом дня в ближних домах. Все эти жизни, разные, шли под один такт.

Монастырь был устроен так же. У него был свой распорядок: когда встают, когда молятся, когда трапеза, когда работа, когда отдых. Всё это было подчинено вратам. Через врата входили, к вратам шли, у врат останавливались. Врата были точкой, к которой сходились все нити. Они были самые многоядные из всех частей монастыря — не потому, что их было много, а потому, что через них проходили все.

Колокольня и Святые врата Страстного монастыря стали особым местом Тверской. Они не только завершали перспективу улицы с одной стороны — они задавали ей начало. Из Кремля, от Иверских ворот, через Охотный ряд, по Тверской, — и вот он, Страстной монастырь. Кто едет по Тверской из центра, видит колокольню издалека. Она растёт, приближается, становится большой. И потом он уже под ней, внутри врат, у Алексея, под часами.

Кто едет с запада, с Тверской заставы, видит колокольню с другой стороны. Для него она — первое, что он видит из Москвы. Он ещё не внутри, он ещё на подходе, и уже — врата. И врата говорят ему: город начался. Ты в Москве, потому что ты прошёл под вратами Москвы.

Так монастырь работал с обеими сторонами одновременно. Из центра — завершение пути. С окраины — начало пути. И то и другое — один и тот же момент, один и тот же порог. Просто с разных сторон.

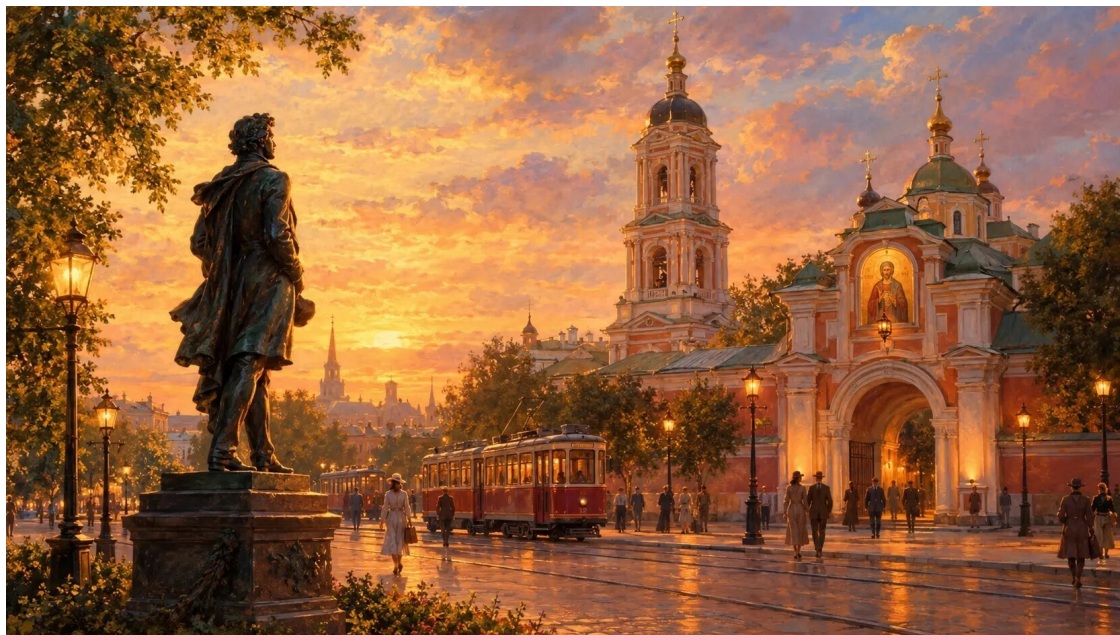
В 1855 году храм Алексея, человека Божия, освятил митрополит Московский Филарет — тот самый, что в 1849 году отправил в Синод донесение о том, что колокольня обветшала. Пять лет прошло между бумагой и освящением. За это время сломали старое, поставили новое, отлили колокола, написали иконы, привезли ризы, вставили часы, забрали в штат новые служащие, приписали новые кельи. И вот — в 1855 году, в год смерти Николая I, в год начала другой эпохи, освятили храм над воротами.

С этого года и до конца империи Страстной монастырь стоял так, как его спроектировал Быковский. Ничего больше в нём существенно не менялось. Менялось окружение: Тверская застраивалась, площадь перекладывалась, появились трамваи, керосиновые фонари уступили место газовым, газовые — электрическим. Появились телефоны, телеграф, автомобили. Менялась мостовая. Менялось, наконец, само представление о том, что такое Москва.

А колокольня стояла. И часы били. И колокола звонили.

Москва сверяла по ним время — до тех пор, пока часы не остановили.

Глава 4. Пушкин напротив



В 1880 году на Тверском бульваре был открыт памятник Пушкину.

Праздник был большой. Москва вышла смотреть — не только на памятник, но и на саму возможность памятника. До этого в России не ставили памятников поэтам. Памятники ставили царям, святым, военачальникам, государственным людям. Пушкин был первым исключением.

Открытие было в июне, в конце мая по старому стилю. По всей Москве было торжество, Достоевский произнёс свою знаменитую речь, Тургенев был недоволен, но всё равно приехал. Памятник освятили, к нему принесли венки, цветы, читали стихи, говорили речи.

А что было напротив?

Напротив был Страстной монастырь.

Памятник стоял в начале Тверского бульвара, лицом к монастырю. Он был ориентирован именно так: Пушкин смотрел на Святые врата, на колокольню, на храм Алексия, человека Божия. На Алексия, человека Божия, стоящего над вратами.

Между бронзовым Пушкиным и иконописным Алексием было метров тридцать. Они стояли лицом к лицу, но разных уровнях. Пушкин — внизу, у подножия, живой, растрёпанный, задумчивый. Алексий — наверху, в четверике под часами, в храме, куда попадали по лестнице. Один смотрел вниз, ко входу. Другой — тоже вниз, ко входу. Оба — на прохожих.

Это очень точная пара, которую потом разрушат. Пушкин — первый памятник русскому поэту в России. Алексий — храм над Святыми вратами монастыря. Один — поэт, чьё слово вошло в язык, в память, в самосознание города. Другой — святой, чьё имя стало местом, вратами, входом. Один выразил Москву словом, другой закрепил её в пространстве.

Соседство было не случайным. Памятник Пушкину ставили в начале Тверского бульвара не потому, что это удобное место, а потому, что этот смысл был нужен именно здесь. Бульвар — гуляние, разговоры, встречи, разговоры. Тверская — дорога, движение, проезд. На углу этих двух линий — движения и остановки — нужно было поставить того, кто их соединяет. Пушкина поставили в начале бульвара, рядом с монастырём, чтобы поэт и врата стояли у одного порога Москвы.

Пушкин смотрел на монастырь.

Монастырь смотрел на Пушкина.

Ни то, ни другое не было выражением. Просто два места, две памяти, две точки на одной площади, которые признавали друг друга и давали друг другу место.

Прошло совсем немного времени, и памятник Пушкину стал местом встреч.

В Москве вообще-то было много мест встреч. Но «у Пушкина» было особым — потому что Пушкин стоял в начале бульвара, потому что был узнаваем, потому что это было удобно. Каждый, кто хотел встретиться в центре, назначал встречу «у Пушкина». Так продолжалось десятилетиями. Это вошло в язык Москвы и осталось там. И теперь, в наше время, «у Пушкина» — это до сих пор устойчивое выражение, хотя назначить там встречу уже давно не так удобно, как раньше.

Но у Пушкина было две стороны. Одна — центральная, со стороны Тверской. Она вела к Страстному монастырю. Другая — со стороны бульвара, в глубину, где начиналась улица, которой теперь нет.

«У Пушкина» означало два разных места. Со стороны Тверской — встреча на площади. Со стороны бульвара — встреча на самой аллее. И если вы приходили «к Пушкину» с востока, вы видели перед собой монастырь. Если с запада — видели начало бульвара и уходили в его глубину.

В 1917 году началась эпоха, и памятник Пушкину оказался в другом мире.

Это не значит, что с ним что-то случилось. Памятник стоял на месте. Он был обвит красными стягами в дни праздников, у его подножия ставили трибуны, на бульваре устраивали митинги. Москва встречалась «у Пушкина» по-прежнему. Просто вокруг Пушкина теперь был не Страстной монастырь, а место, которое искало в нём новое имя.

Страстной монастырь упорно продолжал смотреть на Пушкина с другой стороны Тверской. Но что это было за смотрение, когда рядом с воротами вырос конструктивистский корпус «Известий», когда через площадь пошли новые слова, когда в самом монастыре устроили Военный комиссариат, потом общежитие, потом Центрархив, потом антирелигиозный музей? Смотреть-то монастырь смотрел, но что он теперь видел?

Он видел Пушкина, всё того же. Пушкин видел его, всё того же. А между ними шла эпоха, всё более чужая тем двум, кто стоял друг против друга.

То, что происходило с памятником и с монастырём потом, — уже не о них, а о том времени. И в этом времени против пары «Пушкин и Страстной» будут выдвинуты совсем другие термины. Не памятник, не поэт, не монастырь, не святыня. А: площадь имени Страстного монастыря, но без самого монастыря. Тверская улица, но переименованная. Памятник Пушкину, но стоящий так, что он больше никуда не смотрит.

Обо всём этом — дальше.

А пока — двадцать шесть лет после открытия Пушкина, до самой революции, эти двое стояли, как стояли. Поэт смотрел на Святые врата. Врата не смотрели никуда.

Просто стояли. Просто рядом.

Глава 5. Тишина



Первые годы после семнадцатого в монастыре шла обычная жизнь.

Это может показаться странным, но это так. Революция отменила многое, но не отменила распорядок дня. Монахини вставали, когда вставали всегда. Шли на службу, когда шли всегда. Ели, работали, молились. В Москве в это время стреляли на улицах, реквизировали квартиры, делили имущество, писали декреты, — а в Страстном монастыре в семь утра звонили к заутрене.

Потом, 30 марта 1919 года, монастырь был упразднён.

Слово «упразднён» здесь важно. Не «закрыт», не «разогнан», не «разрушен». Упразднён — значит, отменён как учреждение. Как будто монастырь — это была должность, которую теперь сократили. Как будто он был чем-то, что можно просто вычеркнуть из списка. Монахини остались. Здания остались. Иконы остались. Службы в некоторых храмах ещё шли. А самого монастыря как бы уже не было — по документам, по постановлению, по бумаге.

Это первая странность той эпохи: вещь становится несуществующей раньше, чем её уничтожат.

Через некоторое время в кельях, где жили монахини, разместился Военный комиссариат. Потом — общежитие для студентов Коммунистического университета трудящихся Востока имени Сталина. Университет этот готовил кадры для национальных окраин, для будущих советских республик Центральной Азии и Кавказа. Студенты его приехали в Москву учиться революции, а жили в бывших монашеских кельях. Над их головами, в четверике под часами, всё ещё стоял Алексей, человек Божий. Внутри колокольни всё ещё был храм. Только в храм не входили.

Это продолжалось до 1924 года. До этого времени в монастыре ещё жили монахини. Они жили рядом со студентами. Они ходили по тем же коридорам, тем же лестницам, тем же переходам, что и студенты. Никто никого не выгонял — просто одни должны были уйти, а другие пришли раньше, чем первые успели уйти. Некоторое время два разных мира жили вместе, в одних стенах, под одной колокольней.

Дальше — Центрархив. В 1922 году в корпуса бывшей обители вселился Центральный архив. Бывшие кельи стали хранилищами. В них стояли стеллажи, на стеллажах — папки, в

папках — бумаги. Бумаги эти были не о монастыре. Бумаги были о чём-то другом, но хранились в монастыре, и это означало, что монастырь теперь работает на архив, а архив — на новую власть. Хранилище превратилось в место, где лежит то, что должно быть сохранено — но сохранено не для монастыря, а против него.

В 1923 году в главном соборе открылся Центральный антирелигиозный музей. Он был сформирован вокруг газеты «Безбожник» — одной из самых мощных атеистических газет того времени. Музей этот должен был показывать вред религии: как она обманывает людей, как эксплуатирует их, как вытягивает из них деньги, как держит в невежестве. Для музея нужно было помещение. Помещением стал главный собор Страстного монастыря.

Это был не случайный выбор. Собор был большой, с высокими сводами, с фресками на стенах. Фрески были из XIX века, из той росписи, что была сделана после пожара. В них были сцены из Евангелия, из житий святых, изображения Христа, Богородицы, ангелов, пророков.

Фрески закрасили.

Это была мера вынужденная и в то же время символическая. Антирелигиозному музею мешали религиозные изображения на стенах. Их надо было убрать. Проще всего было закрасить — поверх одного слоя краски положить другой. Изображения остались под краской, но их больше не было видно. Они стали подпольем, стали нижним слоем, стали тем, о чём музей сам запретил себе помнить.

Так Страстной монастырь стал местом, где религия уничтожалась изнутри. Внутри того, что было построено для религии, теперь учили, что религия — вредна. Внутри того, что было освящено, размещали то, что освящение отрицало. Внутри тех стен, что слышали молитвы, теперь рассуждали о том, что молитвы — это обман.

И всё это — на пороге Москвы, у ворот. В том самом месте, где раньше встречали иконы, теперь рассказывали, что икон не бывает.

А над всем этим стояла колокольня.

Колокольня была высокая. Это её свойство теперь стало подозрительным. Она стояла над воротами, выходила за красную линию, выступала на Тверскую. Её было видно издалека. Её было видно с обеих сторон улицы — из центра и с окраины. Это всегда было её достоинством. Теперь это стало её недостатком.

Высота — это не красота. Высота — это площадь для плаката.

На колокольню стали вешать.

Сначала это были красные флаги к праздникам. Потом — портреты вождей. Потом — лозунги. Потом — не только портреты и лозунги, но и всё, что нужно было повесить на видное место: рекламу Автодора, рекламу лотереи, рекламу кинофильма «Цирк», рекламу чего угодно. Стены храма Алексия, человека Божия, между окнами, стали местом для щитов, потому что это было удобно: гладкая поверхность, все видят, не надо ставить отдельный стенд.

Колокольня превратилась в агитационную площадку.

Не потому, что её так задумали. А потому, что она была удобна. Это самое обидное в унижении исторических зданий: их не унижают специально. Их используют, потому что они под рукой, потому что они на виду, потому что они большие. Их не убивают враги. Их просто берут и делают нужное.

Именно так поступили с колокольней Страстного монастыря. Её не разобрали, не сломали, не спрятали. Её использовали. Сначала как агитплощадку, потом как основу для агитплощадки, потом как место, где можно что-то повесить. Каждый день над Святыми воротами висел плакат. Каждый день над Алексием, человеком Божиим, висел портрет вождя. И даже сам памятник Пушкину напротив — обвивали красными стягами в дни праздников.

Один раз на колокольне повесили портрет Пушкина. Это было в 1937 году, в год столетия со дня его смерти. Портрет Пушкина повесили на колокольню монастыря, напротив его же

памятника. Так поэт и святой оказались в одном кадре — не рядом, а на одном и том же месте: один стоял внизу, другой смотрел сверху.

Это, возможно, самое страшное во всей этой истории. Не снос. Не взрыв. Не закрашивание фресок. А именно этот момент, когда портрет Пушкина повесили на колокольню Страстного монастыря.

Всё остальное можно было как-то объяснить. Агитацию — политикой. Закрашивание — задачей музея. Снос — решением о перестройке. А это — нельзя. Это чистая абсурдность, чистое равнодушие. Пушкин как литературный символ и Пушкин как рекламный щит стали одним и тем же. Он висел там, где висеть было удобно. Он закрывал собой Алексия.

Колокола замолчали раньше.

В 1928 году с колокольни сняли «Благовест» — тот самый колокол в семьсот двадцать два с половиной пуда, с восемью клеймами. Сняли не потому, что он мешал. Сняли потому, что он был из металла. В двадцатых и тридцатых годах в стране шла кампания по изъятию церковных ценностей, и колокола шли в переплавку. Из них делали проволоку, гвозди, части машин, всё, что нужно было для индустриализации. «Благовест» Страстного монастыря переплавили во что-то полезное.

В том же году, что и «Благовест», были сняты и остальные колокола. Часы с боя на восьми гранях колокольни молчали уже давно. Они перестали ходить ещё до революции — обветшали, их заводили всё реже, потом перестали заводить совсем. А в 1924 году рядом, в начале Тверского бульвара, поставили новые электрические часы — у остановки трамвая, на которой теперь останавливался транспорт.

Так появилась эта пара: молчащая колокольня и говорящие часы рядом. Восемь граней колокольни — и один циферблат на столбе. Часы на столбе шли, показывали время, и Москва сверяла по ним свой день. Часы на колокольне стояли.

Это было тихое, негромкое вытеснение. Не снос, не приказ, не запрет. Просто часы в одном месте остановились, а в другом месте завелись.

В 1932 году монастырю присвоили охранный статус.

Это может показаться странным: до этого его уже использовали под агитплощадку, фрески были закрашены, колокола сняты, студенты жили в кельях, архив в корпусах, антирелигиозный музей в главном соборе. И тут — вдруг — охранный статус. Как будто всё это было совместимо с охранением. Как будто можно было держать в монастыре архив и антирелигиозный музей, — и одновременно считать монастырь памятником истории и культуры.

Это тоже симптом того времени. В 1932 году ещё не было единого плана по сносу. Идея снести монастырь витала с 1928 года, но её не сразу реализовали — не хватало сил, средств, повода, начальственного решения. Кто-то в инстанциях считал, что монастырь надо снести. Кто-то считал, что его надо сохранить. Одни действовали в этом направлении, другие — в противоположном.

Монастырь пока стоял.

Не как монастырь — как здание. Не как святыня — как место, где что-то находилось. Использованный, но не тронутый. Занятый, но не разрушенный. Он продолжал стоять над своей площадью, над Тверской, над памятником Пушкину напротив. Колокольня продолжала завершать перспективу улицы. Храм Алексия, человека Божия, продолжал стоять в четверике под часами. Часовня с иконой — там же, где была.

Он стоял.

Это было уже само по себе что-то. Всё, что вокруг, менялось. Изменилась страна, изменился город, изменились люди, изменились слова. Пушкин смотрел на колокольню и, наверное, уже не понимал, что видит. Колокольня смотрела на Пушкина и понимала всё. Она знала, что с ней будет. Знала, что приговор уже вынесен, но ещё не приведён в исполнение. Знала, что ей осталось стоять недолго. И стояла.

Не в противлении. Не в надежде. Просто стояла.

Так проходили последние годы Страстного монастыря. Не в славе. Не в блеске. Не в молитве. В тишине. В агитации. В тихом, будничном использовании и тихом, будничном забвении.

А потом пришёл приказ, и за два года четыре месяца всё было снесено.

Глава 6. Вход



В 1936 году «Мосразбор» начал работы по сносу.

«Мосразбор» — это не организация, о которой помнят. Это была контора, занимавшаяся разборкой зданий в Москве. У неё были свои люди, свои инструменты, свои расценки, свой начальник, свой адрес. Она делала то, что ей поручали. В 1936 году ей поручили Страстной монастырь.

Снос шёл два года. Не потому что монастырь был особенно крепок, а потому что сносить надо было постепенно: сначала нежилое, потом жилое, потом храмы, потом колокольню. Людей из общежития куда-то переселяли. Архив из корпусов куда-то перевозил свои бумаги. Музей из главного собора куда-то перевозил свои экспонаты. Фрески, покрашенные в двадцатых, так и остались покрашенными — их не раскрыли, не сфотографировали, не описали. Просто прошли сквозь них.

Первым, что исчезло, был Алексей, человек Божий.

Не потому, что его сняли. Потому что он был на колокольне, а колокольня шла последней. Но храм над воротами был внутри общего объёма, и его закрыли, а потом и его образ исчез из вида. К этому времени никто уже не помнил, где иконы Пукирева, где риза Русинова, где главная икона Алексея, которую он подарил. Их судьба осталась неизвестной. Это не значит, что их уничтожили. Это значит, что про них больше не известно — а «не известно» в документах равно «утрачено». Так Алексей, человек Божий, стал считаться утраченным.

Утраченный — это очень странное слово. Утратить можно ключи, письмо, очки. Утратить можно память, бодрость, веру. А святого нельзя утратить. Святой не в вещах, не в иконах, не в храмах. Святой — в самом месте, где он стоял. Даже когда иконы нет, стояние остаётся. Оно не утрачено. Оно забыто — это другое.

Сначала на месте монастыря образовались груды кирпича и мусора. Это обычное дело при сносе: сначала стена, потом пролом, потом обвал, потом куча, потом вывоз. Кучи эти стояли на площади недолго — может быть, месяц, может быть, два. Москва ходила мимо, привыкая к тому, что тут теперь мусор. Потом мусор увезли.

На месте мусора образовалось пустое пространство. Его покрыли асфальтом.

Так площадь получила то, что мы теперь называем «просто площадью». Раньше это была площадь, на которой стоял монастырь. Потом — площадь, на которой стоял мусор. Потом — просто площадь. Слово «просто» здесь важнее всего. Оно означает, что тут больше нет ничего, к чему надо относиться. Значит, сюда можно поставить что угодно. Значит, место стало свободно. Свободно не в смысле свободно, а в смысле освобождено, освободили, оставлено пустым для чего-то нового.

Изначально это было Церковью, которое получило своё место на Тверской дороге в 1641 году. Потом это стало монастырём. Потом — памятником истории. Потом — агитплощадкой. Потом — архивом и музеем. Потом — мусором. Потом — асфальтом. Потом будет ещё что-то. Ничего из этого не исчезло. Всё это — слои. Слои этого места.

Название площади изменили раньше, чем сама площадь опустела. Страстная площадь стала Пушкинской. Это произошло в 1931 году. Монастырь к этому времени стоял, но уже считался частью прошлого, и его имя в названии площади мешало. «Страстная» — от Страстей Христовых, от Страстной иконы Богоматери, от Страстного монастыря. «Пушкинская» — от памятника Пушкину. От поэта, а не от монастыря.

Это различие очень важно. Пушкин на площади — против монастыря. Пушкин вместо монастыря. Пушкин, занявший то, что было у монастыря: имя площади, внимание публики, точку встречи. Не сам поэт занял — его поставили занять. Памятник стоял напротив монастыря, но место площади принадлежало Страстному, а не ему. В момент переименования эта принадлежность была отменена. Пушкин стал главным, но не потому, что он был главнее, а потому, что главного убрали.

Окончательный снос приурочили ко дню гибели Пушкина.

Пушкин умер 29 января 1837 года по старому стилю. День памяти Пушкина в 1937 году был столетием. К этому столетию очень многое делалось по всей стране — выставки, публикации, юбилейные издания, концерты, доклады, статьи. И вот к этому же дню в Москве заканчивали разбор Страстного монастыря.

Это была не случайность. Это был расчёт. Тот же, который уже использовался в те годы не раз: привязать политическую акцию к историческому юбилею, чтобы она получила видимость естественности. Сносим к столетию Пушкина — значит, сносим в его честь. Значит, сносим то, что стояло напротив его памятника. Значит, сносим память о прошлом, которое при Пушкине было, а теперь не нужно. Значит, ставим Пушкина на место всего прошлого, а прошлое уничтожаем.

К концу 1937 года на месте Страстного монастыря была пустота. Не мусор, не груды кирпича, не леса, не ограждения, а именно пустота — ровное, чистое, покрытое асфальтом место, где ничего не стояло. По нему можно было ходить, по нему можно было ездить, по нему шла трамвайная линия, рядом с ним был памятник Пушкину. Ничего не напоминало, что тут когда-то был монастырь.

Так завершилась история Страстного монастыря.

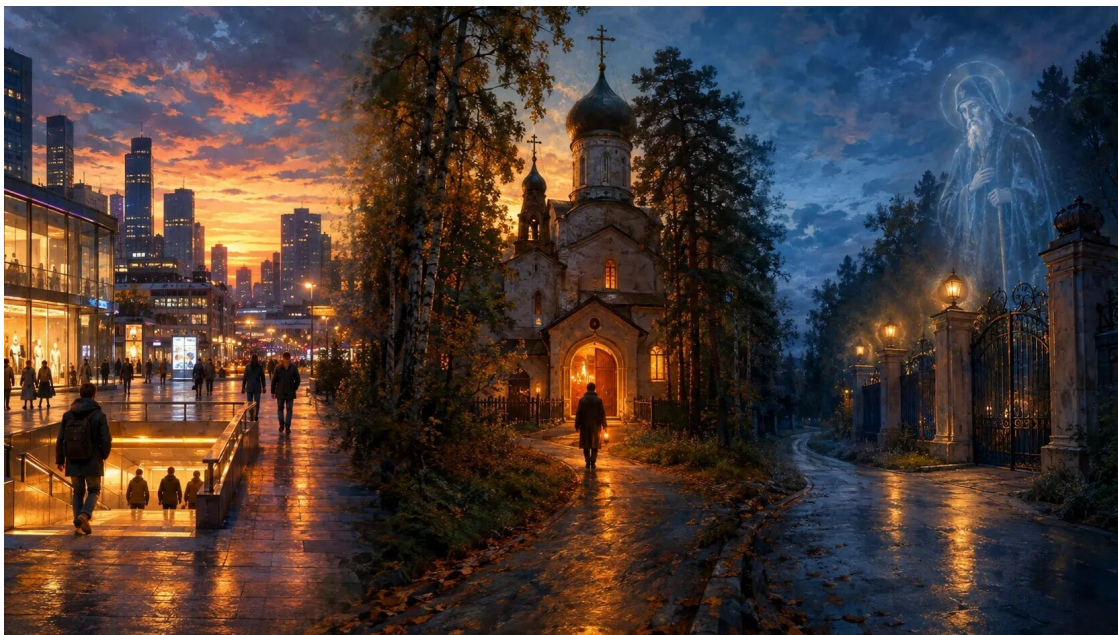
Он был поставлен в честь Страстной иконы Божией Матери в 1641 году — то есть через 296 лет после того, как он был задуман, и через 296 лет до того, как на его месте снова будет воздвигнут храм. Это не наша мысль. Это случайное совпадение дат, каких много в истории. Но оно показывает, насколько длинная у этих вещей мера времени.

Он был единственным в России монастырём, устроенным в честь Страстной иконы Богоматери.

Он был последним — в старой Москве — монастырём, стоявшим прямо у Тверских ворот.

Он был снесён.

Эпилог. Где искать



В 1950 году памятник Пушкину развернули на 180 градусов и переставили на другую сторону расширенной улицы Горького.

Вот это надо разобрать отдельно, потому что это самая странная часть всей истории.

Улица Горького — это бывшая Тверская. В конце сороковых её перестроили и расширили. Она стала шире, чем была. Линия домов сдвинулась. Улица переделалась настолько, что памятник Пушкину, стоявший в начале Тверского бульвара, оказался на неправильной стороне относительно нового движения. И его переставили.

Но развернули не только место. Развернули самого Пушкина.

Памятник был установлен в 1880 году лицом к Страстному монастырю. Это было его назначение — смотреть на монастырь и быть видимым от монастыря. Когда памятник поставили на новое место, его повернули на 180 градусов. Теперь он смотрит в другую сторону — не туда, куда смотрел 70 лет.

Стоял он сам теперь на месте колокольни.

Это очень точное перемещение. Пушкин встал на то место, где была колокольня Страстного монастыря. И смотрит теперь в противоположную сторону от того, что было перед ним раньше. Смотрит туда, где раньше был бульвар, куда он смотреть не мог.

Алексия, человека Божия, в этом новом пространстве нет. Он считается утраченным.

Тут надо заметить нечто очень простое. Пушкин был поэтом. Он не был святым. Святым не был и его памятник. Но ситуация, в которую попал этот памятник, — это ситуация святыни. Он стоит на месте святыни, внутри которого больше нет святыни как таковой. Памятник заменил собой храм. Памятник Пушкину стоит там, где стоял храм Алексия, человека Божия, и там, где стояла колокольня, и там, где стояли Святые врата.

Значит, сюда приходят люди, чтобы поклониться? Иногда приходят. Стихи читают. Цветы кладут. На пьедестале сидят, потому что это удобно. Но никто не приходит сюда так, как приходят к святыне, потому что святыни тут нет. Есть памятник.

Памятник и святыня — это разные вещи. Памятник — это память о том, кто умер. Святыня — это место, где кто-то присутствует. Памятник говорит: «Тут был он, а теперь его нет».

Святыня говорит: «Тут он есть, хотя вы его не видите». Между этими двумя вещами — целая пропасть.

Памятник Пушкину теперь говорит людям то же, что и прежде: память, поэт, слово, стихи. Но он говорит это с того места, где раньше говорилось другое. Тут не заменили одного другим, тут наложили одно на другое. Оба слоя живы. Только верхний слой — это Пушкин, а нижний — Алексей. И то место, где они оба находятся, — то самое место.

Икона Страстной Божией Матери сохранилась.

Она находится в храме Воскресения Господня в Сокольниках. В Москве, в стороне от центра, в одном из восточных районов, где сейчас стоит этот храм. Туда можно прийти и поклониться. Каждый день туда идут люди — не потому, что икона известна, а потому, что она чудотворная. По ней молятся, к ней прикладываются, у неё просят о выздоровлении, о защите от болезней и пожаров, о зрении для слепых. Всё это делают и теперь, как делали у Тверских ворот почти четыре столетия назад.

Тут нужно сделать одно уточнение. Икона Страстной Божией Матери в Сокольниках — это не подлинник, приходивший в Москву в 1641 году. Это одна из её копий, одна из её списков, сделанных для Москвы. Подлинник остался в Нижегородской губернии, в храме села Палец, и что с ним стало — не известно точно. В Москве был свой список — тот, для которого построили церковь Страстной иконы Божией Матери, тот, который стоял в монастыре. Этот список уцелел, перешёл в храм Воскресения в Сокольниках и стоит там до сих пор.

Образ Алексея, человека Божия, считается утраченным.

Это слово «утраченным» — самое честное слово во всей нашей истории. Не «погиб», не «уничтожен», не «разрушен». Утрачен — то есть был, а теперь нет. Не потому, что кто-то его специально уничтожил, а потому, что он в какой-то момент перестал быть там, где был, и неизвестно, где он теперь. Это чистая утрата. Это чистое отсутствие.

Утрату не ищут. Утрату скорбят. Утрату невозможно ни забыть, ни вернуть. Она есть всегда, потому что её нет.

Есть три места, оставшиеся от Страстного монастыря.

Первое — площадь. Современная Пушкинская площадь — это то место, где стоял монастырь. На ней нет ни одной таблички, ни одного знака, ни одной надписи, которая напоминала бы, что тут был монастырь. Это просто площадь. Магазины, кафе, подземный переход, туристы, автомобили, вечерние огни. Место, где стояло то, что стояло, а теперь стоит то, что стоит.

Второе — икона. Храм Воскресения в Сокольниках, где можно поклониться. Это место связано с монастырём напрямую: сюда перешла главная святыня — Страстной образ Божией Матери. И каждый, кто приходит в этот храм, приходит, сам того не обязательно зная, к тому, что было у Тверских ворот, что встречали в августе 1641 года, чему молились четыре века, что перешло из монастыря в этот храм. Тут можно приложиться к тому, что было тогда.

Третье — образ Алексея. Он утрачен. Не в Сокольниках, не в музее, не в храме, нигде. Его нет. Он вышел из видимого мира и остался только в виде памяти: в житии святого, в упоминаниях в документах, в описаниях храма, в записях о дарении ризы купцом Русиновым, в свидетельствах о том, что иконы для храма писал Пукирев, и, возможно, они были ростовыми.

И вот на этом третьем месте мы и заканчиваем.

Потому что весь рассказ был не о монастыре. Он был о том, что значит стоять у входа. О том, как место может быть вратами и как оно может перестать ими быть. О том, что делает человека святым — не добродетель, не подвиг, не мученичество, а стояние на пороге. Стояние, при котором через тебя проходят все, а ты неходишь.

Монастырь Страстной был вратами Москвы. Тот, кто стоял над вратами, был человеком у врат. Когда врата снесли, человек у врат остался. Он не ушёл. Он только стал невидим.

Утраченный — это

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.